

Вспоминая отца, не припоминаю его улыбающимся, а чтобы смеющимся... По-моему, отец, или как чаще всего я уже в ранней молодости звал его просто «батя», не смеялся вообще. Да и улыбался не так уж и часто: когда порадуешь его хорошей новостью или если удавалось ему сделать что-то особенное по хозяйству, для блага семьи и улучшения быта в доме. Нынче в это как-то и не верится: отец мой не был, что называется, сухарем, да и с юмором у него всё было в порядке. Мог иной раз и, так сказать, подколоть или маленько подшутить над тобой, при этом слегка улыбнется и... на этом всё. Ну а слово «батя» у нас воспринималось легко, скорее всего потому, что было весьма схоже с местным: отец – батько.

**Б**атя был человеком работающим, умелым в любом деле, что касалось дерева, точнее сказать, деревообработки. С топором обращался легко и даже красиво, лучше, чем я, к примеру, с пишущей ручкой. В его руках, когда батя тесал лесину, топор просто играл, и бревно выходило обработанное точно по шнуру – ровно, без сучка-задоринки. Посмотришь, бывало, – ровно, гладко, словно кто-то еще и рубанком прошелся. И с другими плотницкими инструментами: рубанком, фуганком, киянками, долотами, стамесками и прочим – обращался по-свойски, просто играючи.

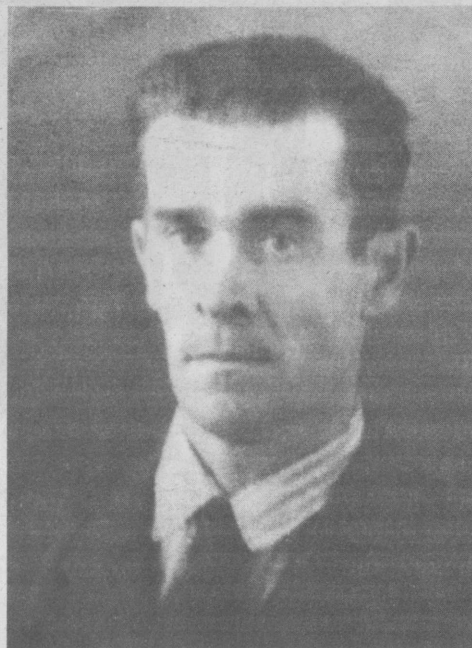
Так в родительском доме понемногу на моей памяти появлялась мебель, сработанная руками отца, – диван с пружинным матрацем, высокой и широкой спинкой. Хорошо помню, как не раз смотрелся в зеркало, встроенное в спинку. Видимо, по тогдашней моде. Этот диван долго стоял в комнате родителей. Позже, когда купили телевизор, батя смастерил буквально за день-два тумбочку под него. Я, как это и бывало в ту пору, помогал ему. Держал доску, которую батя распиливал, что-то подносил и относил, помогал клеить обшивочный шпон, строгать

он так и не оклемался и умер в квартире на втором этаже, так ни разу не выйдя из нее. Разве что выходил, помогая себе палочкой, посидеть на балконе.

Накануне переезда в многоквартирный дом, даже задолго до переезда, батя не однажды говорил, как не хочется ему переезжать и доживать в человеческом улье. Так он, родившийся и проживший не один десяток лет в собственном доме, с огородом и садом, пусть и совсем небольшими, но для человека, появившегося на свет Божий еще в Российской империи и прожившего почти два десятка лет в межвоенной Польше, называл многоквартирные дома. Что тут скажешь, время и обстоятельства формируют характер человека, его мировоззрение, его сущность. Вполне понятно отношение бати к частной собственности: он считал ее краеугольным камнем благополучия и счастья человека. Вокруг же всё было наше и ничего или почти ничего своего. С переездом в многоквартирный дом батя, как я теперь понимаю, на подсознательном уровне сознавал: он теряет последнюю собственность, дом, в который вложил свои силы и душу, строя его, а затем, как только в родной деревне началась коллективизация, правдами и неправдами выбив пас-

# Отец

## Эссе



Федор Гришковец в первые послевоенные годы

ревню на новую сборку. Бревна разобрали, пронумеровав заранее, а потом собрали по номерам уже новые хозяева. Я даже не спрашивал у матери, куда, в какую деревню ушел наш дом. Мне было как-то больно осознавать, что в моем доме живут другие люди. А деньги от его продажи – четыре тысячи рублей – родители и дядька Пётр поделили. Мать свои две тысячи «положила на книжку»: «На смерть будё». Так оно, кстати, и вышло: распался (умер) Советский Союз, а с ним «умерли» и две тысячи родительских сбережений...

Пока не снесли и не продали дом, я несколько раз в начале лета приезжал на свою улицу. Дом стоял закрытый, во дворе не было ни скамейки, ни стула, так я садился на травку под грушей посидеть, повспоминать – мне так тяжело было расставаться с МОИМ домом, так хотелось хоть в мечтах-думах побыть-пожить в нем...

мы пробирались до дома по каким-то временным мосткам из камней и старых досок... Но здесь проходили мое детство и юность – самая прекрасная пора жизни, так что не замечали серые обшарпанные стены заводских цехов, не обращали вни-

**В** нашем доме совсем немного было мебели. Диван, тумбочка под телевизор, кухонный стол, полки под посуду, а также довольно большой, к тому же – на случай – раздвижной круглый стол, были сработаны руками отца. Именно сработаны, а не сделаны. А

Я, как это и бывало в ту пору, помогал ему. Держал доску, которую батя распиливал, что-то подносил и относил, помогал клеить облицовочный шпон – строганую из дуба тонкую древесную пленку. В этой же комнате, которую мы называли большой, стояла этажерка, которую отец смастерил задолго до появления у нас в доме телевизора. На ее полках располагалась наша домашняя библиотека – десятка полтора-два книг разного содержания и жанров. Ну и стол, этот самый круглый, сделанный из дуба, что сейчас стоит в моем доме. А на кухне, встроенные в стену, висели полки для посуды, в углу – приспособление из дерева с металлическим умывальником и тазом, в который сливали воду. Потом появилось нечто более солидное, что мы называли сервантом, куда переместили с полок посуду, в нем хранили крупы, муку и прочее такое.

Но самой значимой мебелью в родительском доме был, конечно, диван. Я на нем спал, когда в другой комнате, кстати, их в родительском доме было всего две, обосновалась семья моего брата – жена и двое сыновей. Сестра еще до моего ухода в армию окончила Пинский гидротехникум и уехала по распределению. После того, как отца разбил инсульт, я часто спал на кухне, постелив на полу матрац, точно такой, на каком спал в армии. Так продолжалось четыре зимы. Летом я располагался на ночь в сарае и спал в нем буквально до первых холодов – так не хотелось в дом, где всё меньше и меньше оставалось мне места. Я и писал в сарае, много писал. Зажгу свечку, поставленную в банку от рыбных консервов, наполненную на всякий случай водой, и пишу либо читаю, пока сон не сморит окончательно...

В доме, построенном и отцом (дом в одиночку не построишь), я прожил до 27 лет. К сожалению, из того в полном смысле моего отцовского дома мы выносили батю на руках. После тяжелого инсульта

нось, дом, в который вложил свои силы и душу, строя его, а затем, как только в родной деревне началась коллективизация, правдами и неправдами выбив паспорт и городскую прописку, перевозил его в город.

Это произошло за два года до моего появления на свет Божий. Отцу и его брату Петру разрешили поставить дом в центре Пинска, на улице Ясельдовской, неподалеку от улицы Брестской. Но через какой-то год-два рядом, на углу улиц Брестской и Горького, возвели многоквартирный дом с продовольственным магазином на первом этаже. Это был первый большой жилой дом в городе. Не было до этого и такого продмага. Дом предназначался для разного рода начальства, как гражданского, так и военного, коих в Пинске становилось всё больше. Еще никто не знал про центральное отопление, так что для обогрева дома необходимо было построить котельную. Ее и поставили на месте нашего дома, а под наш дом выделили участок на улице Пугачева, на тогдашней заводской окраине Пинска. Мне было полгода, как дом, в который внесли меня младенцем, перенесли на Пугачева. С одной стороны гудели «спичка» и «фанерка», с другой – «литейка». Пройдет немного времени, снесут тюрьму и в ее стенах и возведенных рядом строениях разместят биомедицинский завод, а немного поодаль, на запад, возведут с нуля кожзавод. Кстати, я хорошо помню Пинскую тюрьму, сторожевые вышки на улицах Полесской и Брестской...

Но я отвлекся. Это, скорее всего, потому, что мне дорог, очень дорог этот район Пинска, несмотря даже на то, что по сей день помню, как долго, пока не ввели какие-то фильтры и прочее, мы буквально задыхались от запахов с биомедицинского завода, как трудно было уснуть, пока к полночи не стихал гул и грохот «литейки»; как весной и осенью

и юность – самая прекрасная пора жизни, так что не замечали серые обшарпанные стены заводских цехов, не обращали внимания на гул и грохот, на дым производственных труб, на специфические запахи. Почему-то больше других вспоминается и помнится запах сырой древесины, слегка горьковатый и хмельной, особенно теплыми весенними вечерами...

Мне трудно, просто тяжело было съезжать с улицы Пугачева, из моего дома, в котором оставались мои детство, юность и молодость. А каково было отцу? Он строил этот дом еще в деревне, а потом дважды перевозил и собирал его в городе... Уезжая с Пугачева на седьмом десятке лет, тяжелобольной, так и не ставший снова на свои ноги, что думал батя, понять нетрудно уже только потому, что, когда его выносили из дома, он весь как бы трясся и слезы текли у него по лицу.

А дом, построенный и его руками, в очередной раз пошел под снос: расширялся литейно-механический завод, что располагался сразу же за нашим забором. Нашей семье, как и семье брата отца, моего родного дядьки Петра, жившей на другой половине, завод по такому случаю выделил квартиры. Как непременно подчеркивалось, со всеми удобствами. Отдельную квартиру завод выделил и моему старшему брату с семьей, а также двоюродным братьям. Все они были женаты, имели детей и, разумеется, с нетерпением ждали, когда, наконец-то, «литейка» снесет наш дом. Не хотели этого разве что бес семейный я да больной, разбитый инсультот батя. Я привык к нашей, всё еще зеленой улице, пусть уже и не такой тихой, как бывало, когда «литейка» еще не размахнулась так широко. В этом районе у меня была масса друзей, тут знали меня даже собаки, так что, подзагуляв, можно было без особых проблем добраться до родного порога...

Дом снесли и продали куда-то в де-

полки под посуду, а также довольно большой, к тому же – на случай – раздвижной круглый стол, были сработаны руками отца. Именно сработаны, а не сделаны. А если сделаны, то – мастерски. В свою работу – это было видно любому – батя вкладывал душу, всю, без остатка...

После смерти матери, а она умерла на 85-м году, пережив мужа на четырнадцать лет и прожив одинокой почти тридцать, переезжая в свою нынешнюю квартиру, я забрал лишь круглый стол. Его бы выбросили, но я настоял взять его в новую, как я теперь окончательно сознаю, мою последнюю на земле квартиру. Больно уж хотелось мне, чтобы хоть что-то из моего, того отцовско-материнского дома было со мной до конца моих дней...

Стол этот, как я вычислил, батя смастерил летом 1961 года. Год, когда полетел в космос Гагарин. Мать так и говорила. Апрель 61-го она запомнила потому, что впервые пошла работать на завод. До того, сколько ни пыталась найти в городе работу, не могла устроиться. Предприятий было немного. Строек, которые начались ближе к середине 1960-х, еще не было, так что с работой в Пинске было непросто. А человеку без профессии, каковых на то время оказалось в Пинске немало, работу и вовсе было не найти. Западное Полесье полностью переходило на новый, колхозный лад жизни. Многие селяне, едва вкусив пирога этой самой новой жизни, подались в город. Было это непросто, но батя смелоду работал в Пинске. Его отец был малоземельным, мать умерла, когда ему не было и пятнадцати лет. В семье было еще трое детей – десятилетняя сестра Ольга, восьмилетний Максим и трехлетний Петр. Старший брат Иван, достигнув совершеннолетия, уехал на заработки в Аргентину. И хлеб насущный, живя в селе, правда, недалеко от Пинска, батя пришлось добывать в городе. Так, еще «за польским часом» он оказался на пинской «фанерке».

**В** 1934 году отца призвали на службу в Войско Польское. Служить довелось в Гдыне. Не особо говорливый, изредка и все как-то мельком батя нет-нет и обмолвливался про свою службу в армии пана Пилсудского. Ему, как и другим польским солдатам православного исповедования, доводилось делать много черновой армейской работы. По выходным и праздничным дням католического календаря солдат-поляков строем вели в костел, а наряды по службе и разные бытовые работы в воинской части приходилось выполнять солдатам православного исповедания и евреям. Их также немало было в Войске Польском. Разумеется, в рядовом составе. Выше капрала православному, как и еврею, в польской армии предвоенного времени было не подняться. Про офицерство и думать не приходилось. Кстати говоря, солдат с «кресов всходних»\* православного исповедания, как и вообще тутошний православный люд, в межвоенной Польше считали русскими. Ну а католиков, соответственно, поляками. Никакой белорусской национальности, как и вообще Белоруссии и БССР, в Польше Пилсудского не признавали. Думаю, это в немалой степени повлияло на то, что отец, да и мама считали себя русскими. Ну а собственно русских они называли «восточниками». Впрочем, «восточниками» мои родители называли и белорусов, переехавших в Пинск из той части страны, что до сентября 1939 года входила в БССР...

**О**тслужив в Войске Польском, батя вернулся и на пинскую «фанерку». Тягал, как не раз вспоминал, «вагонки» со шпоном. Такую работу давно выполняют электрокарами, разумеется, управляемыми человеком. А тогда шпон для выпуска фанеры к прессам подвозили вагонетками по рельсам — два человека руками, но чаще

70–80 был еврейским городом. Предприятий практически не было, в основном небольшие мастерские, а вот торговля и мелкие ремесла, что называется, процветали. Впрочем, речь не об этом. В марте 1941 года батя пошел на работу напрямик в сторону Пины. Но, подходя к реке, понял: Пина «пошла». Побежал в сторону моста — добрый километр по талому насту, по бездорожью, а там еще по городу с километр, не меньше, до «фанерки». Пока пришел на завод, опоздал на полчаса. В тот же день батю забирали.

**С**уд был недолгим. Безо всякого разбирательства и следствия — год тюрьмы. Вместе с ним осудили очередных нескольких евреев, отказавшихся работать в субботу, и какого-то бедолагу, на заводской свалке отрезавшего от старой транспортной ленты два куска на подметки, чтобы подбить сношенные ботинки. Еще недавно это было в порядке вещей, а теперь... Пусть гниет, но брать не смей — социалистическая собственность!..



тюрьмы эвакуировалась на восток, а заключенные разбежались по домам. У кого он, дом, разумеется, был. Правда, радость арестантов, нежданно получивших свободу, была недолгой. Немцы, немало освоившись в Пинске, тут же всех беглых советских арестантов вернули в камеры. Скоренько нашли по спискам, которые бывшая тюремная охрана, оставляя город, не уничтожила. Немцы заключенных использовали на восстановлении железной дороги, которую недавно они же и разбомбили.

На себе носили шпалы, рельсы. Один рельс несли шесть человек на ломах — три с одной стороны и три с другой. А шпалы — по две — также на ломах несли четыре человека. Не кормили, не давали курева. Всё это передавала родня арестованных. Как-то батя и его пятеро парников несли рельс от места выгрузки к ремонтируемому участку, а другие арестанты присели покурить. Несут они рельс, надрываются, а тут подбегает офицер охраны и давай лупить их плеткой! По рукам, по плечам, по лицу. Оста-

табачный лист, сушили в старой, вышедшей из употребления металлической посуде или на «бляхе» — небольшом листе из металла — в печи на остывающих головешках, а в жаркий день — на солнце. У каждого были свои «приемы», но одно общее правило — подальше от посторонних глаз. Готовый к употреблению табак — махорку — высыпали на небольшой листок бумаги, сворачивали самокрутку, как правило, из старых газет, разрезанных на небольшие дольки-куски. «При поляках» посадка табака строго каралась законом. Как и самогонование. Штрафы для простых людей — селян и рабочих, кто обычно и занимался этим, были просто разорительны. Сборщики податков\*\* совершали рейды по деревням и городским окраинам, выискивая в огородах участки с табаком. Его легко можно было определить по запаху, особенно тихими теплыми летними вечерами. Но разве напугаешь нашего мужика штрафом? В особенности любителей выпить и покурить... Табак курящие мужики сажали небольшими «плантациями»-клочками среди картошки или других традиционных у нас овощей где-нибудь в дальнем закутке двора. Ну а самогон варили... Впрочем, про это известно немало, да и речь-то совсем о другом...

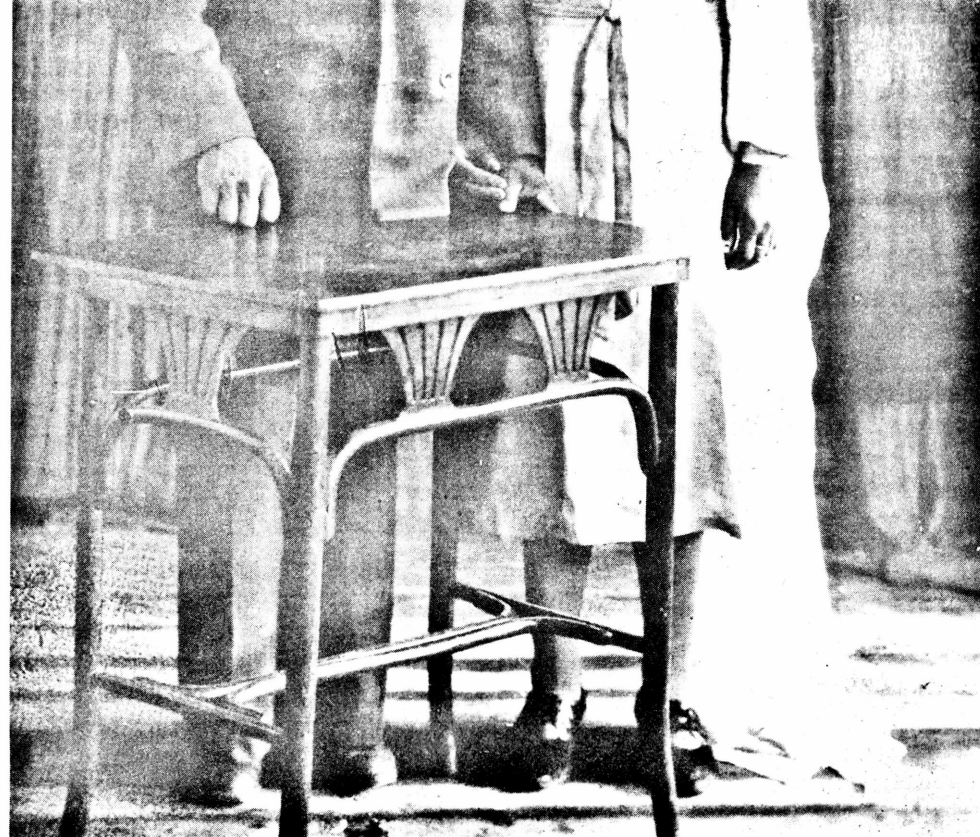
Батя рассказывал, что у него руки чесались дать этому гаду в холёную морду, да так врезать, чтобы голова отлетела! Я на тебя, гадина немецкая, даром работаю, а ты меня за это бьешь?! Больше всего его удивляло и, по-моему, злило даже через годы, когда он рассказывал нам, то, что немецкий офицер стал бить их, работавших, а не присевших покурить без команды. Тогда же решил при первой возможности бежать. И бежал. Днём прятался в лесу, а на ночь шел к дому, ночевал в клуне, на отшибе двора...

**О**тец, сколько я его помню, всегда

А тогда шпон для выпуска фанеры к прессам подвозили вагонетками по рельсам — два человека руками, но чаще всего плечом толкали. Они нередко съезжали с рельсов. Тогда работяги, толкавшие их, брали в руки лаги, приподнимали «вагонку», ставили колеса на рельсы и толкали дальше. Бывало, что и травмировались. Хорошо помню, как в лет пять-шесть с мамой навещал отца в больнице. Он как раз и был травмирован, когда ставил «вагонку» на рельсы. Лага сорвалась и сильно ударила его по спине. Вообще работа на «фанерке» была трудоемкой, вредной и опасной. В цехах возле прессов было жарко, постоянно валил пар, а ворота с обоих концов нараспашку, окна открыты, а то и вовсе без стекол. Даже зимой. В цехах постоянно гуляли сквозняки, а одежда на рабочих была отсыревшей от пара и пота. Отец, помнится, еще смолоду страдал радикулитом, но на работу не ходил лишь в том случае, когда врач «давал биллутень» — освобождение от трудовых обязанностей в связи с заболеванием. Ну а «за вредность» профком ежемесячно выдавал талоны на молоко — пол-литра за каждый рабочий день...

На работу батя добирался так: зимой пешком — напрямик через замерзшую Пину, примерно пять километров, а летом — вкруговую через мост, примерно тринадцать километров, на «ровэры» — велосипеде.

И всё было нормально. Ничего вроде особенного в судьбе отца не случилось и после освободительного похода Красной армии в Западную Беларусь. Он все также работал на пинской «фанерке». Разве что зарплату стали выдавать другими деньгами и меньше товаров стало в магазинах, как и самих магазинов в Пинске. До войны с немцами (Великой Отечественной) Пинск процентов на



*Супруги Гришковец после венчания, август 1946 г.*

Осужденных на короткий срок никуда не увозили, а выводили на разные городские работы. В основном — на распиловку леса и заготовку дров для отопления различных городских учреждений и заведений. Их в областном Пинске появилось столько, что трудно было запомнить, тем паче людям, толком не знавшим русского языка, не умевшим читать по-русски...

В первые дни войны, которую вскоре объявят Великой Отечественной, немцы двигались, оставляя Пинск в стороне. Минск, как известно, они оккупировали 28 июня 1941-го, а в Пинск вошли лишь 5 июля. К этому времени охрана пинской

новились они с рельсом в руках, не возьмут в толк, с чего это, и рельс бросить бояться, чтобы еще больше не перепало. Но тут офицер останавливается, подзывает переводчика, приказывает всем построиться. И объявляет: «Должен быть порядок! Вы теперь работаете на великую Германию, на фюрера, во всем должен быть немецкий порядок. Работать — значит всем работать! Курить — значит всем курить! И только по команде!»

К урили самосад — махорку, табак собственного посева и домашней обработки. Сами сажали, сами резали вручную на мелкие части

О тец, сколько я его помню, всегда был человеком сдержанным, даже тихим, правда, тихоней не был. Как-то летом, за год или два перед моим походом в первый класс, на соседней улице загорелся дом. Батя в этот день работал в третью смену и перед обедом пошел к колонке за водой. Только вышел, как увидел, что на соседней улице, в каких-то двухстах метрах, из-под крыши дома вырываются клубы дыма. Оставил ведра и побежал туда. Двери дома, из которого валил дым, были не заперты. Быстро прошел по коридорчику на кухню, услышал громкий детский плач. Три девочки, забившись в угол за печкой, надрылались от плача. Батя тут же сгреб в охапку двух, а третью, взяв за руку, выбежал из начавшего гореть дома. Сам не обгорел, но дыма успел глотнуть хорошенько. Отпивался кислым молоком. Его у нас хватало — мать не работала, держала за речкой «кормилицу» — корову. А батю, помнится, пожарные выписали денежную премию. Получив ее, купил мне и сестре подушечек — были такие конфеты, тогда самые дешевые. Ну а с одной из тех соседских сестер, самой младшей, что батя вынес из горящего дома, я потом учился в одном классе, правда, не с первого, а с пятого. Мы никогда не вспоминали про пожар в ее доме. В детстве всё страшное забывается быстро. Не припомню, чтобы и батя говорил про этот свой подвиг. А вот мама незадолго до смерти, вспоминая наш дом на улице Пугачева, обмолвилась про пожар на Фруктовой, про батькин поступок. Оказывается, на премиальные от пожарных он купил ей платок...

*(Продолжение будет)*

**Валерий ГРИШКОВЕЦ, г. Пинск**

\*Кресы всходни — восточные земли (польск)

\*\*Податок — налог (польск.)